

Нобелевская лекция Светланы Алексиевич

Лауреат Нобелевской премии по литературе за 2015 год



SVENSKA
AKADEMIEN

© THE NOBEL FOUNDATION 2015

General permission is granted for the
publication in newspapers in any language
after December 7, 2015, 5:30 p.m. CET.

Publication in periodicals or books otherwise
than in summary requires the consent
of the Foundation.

On all publications in full or in major parts
the above underlined copyright notice
must be applied.

О проигранной битве

Я стою на этой трибуне не одна... Вокруг меня голоса, сотни голосов, они всегда со мной. С моего детства. Я жила в деревне. Мы, дети, любили играть на улице, но вечером нас, как магнитом, тянуло к скамейкам, на которых собирались возле своих домов или хат, как говорят у нас, уставшие бабы. Ни у кого из них не было мужей, отцов, братьев, я не помню мужчин после войны в нашей деревне – во время второй мировой войны в Беларуси на фронте и в партизанах погиб каждый четвертый беларус. Наш детский мир после войны – это был мир женщин. Больше всего мне запомнилось, что женщины говорили не о смерти, а о любви. Рассказывали, как прощались в последний день с любимыми, как ждали их, как до сих пор ждут. Уже годы прошли, а они ждали: «пусть без рук, без ног вернется, я его на руках носить буду». Без рук... без ног... Кажется, я с детства знала, что такое любовь...

Вот только несколько печальных мелодий из хора, который я слышу...

Первый голос:

«Зачем тебе это знать? Это так печально. Я своего мужа на войне встретила. Была танкисткой. До Берлина дошла. Помню, как стоим, он еще мне не муж тогда был возле рейхстага, и он мне говорит: «Давай поженимся. Я тебя люблю». А меня такая обида взяла после этих слов – мы всю войну в грязи, в пыли, в крови, вокруг один мат. Я ему отвечаю: «Ты сначала сделай из меня женщину: дари цветы, говори ласковые слова, вот я демобилизуюсь и платье себе пошью». Мне даже ударить хотелось его от обиды. Он это все почувствовал, а у него одна щека была обожжена, в рубцах, и я вижу на этих рубцах слезы. «Хорошо, я выйду за тебя замуж». Сказала так... сама не поверила, что это сказала... Вокруг сажа, битый кирпич, одним словом, война вокруг...»

Второй голос:

«Жили мы около Чернобыльской атомной станции. Я работала кондитером, пирожки лепила. А мой муж был пожарником. Мы только поженились, ходили даже в магазин, взявшись за руки. В день, когда взорвался реактор, муж как раз дежурил в пожарной части. Они поехали на вызов в своих рубашках, домашней одежде, взрыв на атомной станции, а им никакой спецодежды не выдали. Так мы жили... Вы знаете... Всю ночь они тушили пожар и получили радиодозы, несовместимые с жизнью. Утром их на самолете сразу увезли в Москву. Острая лучевая болезнь... человек живет всего несколько недель... Мой сильный был, спортсмен, умер последний. Когда я приехала, мне сказали, что он лежит в специальном боксе, туда никого не пускают. «Я его люблю, – просила я. – «Их там солдаты обслуживают. Куда ты?» – «Люблю». – Меня уговаривали: «Это уже не любимый человек, а объект, подлежащий дезактивации. Понимаешь?» А я одно себе твердила: люблю, люблю... Ночью по пожарной лестнице поднималась к нему... Или ночью вахтеров просила, деньги им платила, чтобы меня пропускали... Я его не оставила, до конца была с ним... После его смерти... через несколько месяцев родила девочку, она прожила всего несколько дней. Она... Мы ее так ждали, а я ее убила... Она меня спасла, весь радиоудар она приняла на себя. Такая маленькая... Крохотулечка... Но я любила их двоих. Разве можно убить любовью? Почему это рядом – любовь и смерть? Всегда они вместе. Кто мне объяснит? Ползаю у могилы на коленках...»

Третий голос:

«Как я первый раз убил немца... Мне было десять лет, партизаны уже брали меня с собой на задания. Этот немец лежал раненый... Мне сказали забрать у него пистолет, я подбежал, а немец вцепился в пистолет двумя руками и водит перед моим лицом. Но он не успевает первым выстрелить, успеваю я...»

Я не испугался, что убил... И в войну его не вспоминал. Вокруг было много убитых, мы жили среди убитых. Я удивился, когда через много лет, вдруг появился сон об этом немце. Это было неожиданно... Сон приходил и приходил ко мне... То я лечу, и он меня не пускает. Вот поднимаешься... Летишь...летишь... Он догоняет, и я падаю вместе с ним. Проваливаюсь в какую-то яму. То я хочу встать... подняться... А он не дает...Из-за него я не могу улететь...

Один и тот же сон... Он преследовал меня десятки лет...

Я не могу своему сыну рассказать об этом сне. Сын был маленький – я не мог, читал ему сказки. Сын уже вырос – все равно не могу...»

Флобер говорил о себе, что он человек – перо, я могу сказать о себе, что я человек – ухо. Когда я иду по улице, и ко мне прорываются какие-то слова, фразы, восклицания, всегда думаю: сколько же романов бесследно исчезают во времени. В темноте. Есть та часть человеческой жизни – разговорная, которую нам не удастся отвоевать для литературы. Мы ее еще не оценили, не удивлены и не восхищены ею. Меня же она заморозила и сделала своей пленницей. Я люблю, как говорит человек... Люблю одинокий человеческий голос. Это моя самая большая любовь и страсть.

Мой путь на эту трибуну был длиной почти в сорок лет – от человека к человеку, от голоса к голосу. Не могу сказать, что он всегда был мне под силу этот путь – много раз я была потрясена и испугана человеком, испытывала восторг и отвращение, хотелось забыть то, что я услышала, вернуться в то время, когда была еще в неведении. Плакать от радости, что я увидела человека прекрасным, я тоже не раз хотела.

Я жила в стране, где нас с детства учили умирать. Учили смерти. Нам говорили, что человек существует,

чтобы отдать себя, чтобы сгореть, чтобы пожертвовать собой. Учили любить человека с ружьем. Если бы я выросла в другой стране, то я бы не смогла пройти этот путь. Зло беспощадно, к нему нужно иметь прививку. Но мы выросли среди палачей и жертв. Пусть наши родители жили в страхе и не все нам рассказывали, а чаще ничего не рассказывали, но сам воздух нашей жизни был отравлен этим. Зло все время подглядывало за нами.

Я написала пять книг, но мне кажется, что все это одна книга. Книга об истории одной утопии...

Варлам Шаламов писал: «Я был участником огромной проигранной битвы за действительное обновление человечества». Я восстанавливаю историю этой битвы, ее побед и ее поражения. Как хотели построить Царство Небесное на земле. Рай! Город солнца! А кончилось тем, что осталось море крови, миллионы загубленных человеческих жизней. Но было время, когда ни одна политическая идея XX века не была сравнима с коммунизмом (и с Октябрьской революцией, как ее символом), не притягивала западных интеллектуалов и людей во всем мире сильнее и ярче. Раймон Арон называл русскую революцию «опиум для интеллектуалов». Идее о коммунизме по меньшей мере две тысячи лет. Найдем ее у Платона – в учениях об идеальном и правильном государстве, у Аристофана – в мечтах о времени, когда «все станет общим»... У Томаса Мора и Томмазо Кампанеллы... Позже у Сен-Симона, Фурье и Оуэна. Что-то есть в русском духе такое, что заставило попытаться сделать эти грезы реальностью.

Двадцать лет назад мы проводили «красную» империю с проклятиями и со слезами. Сегодня уже можем посмотреть на недавнюю историю спокойно, как на исторический опыт. Это важно, потому что споры о социализме не утихают до сих пор. Выросло новое поколение, у которого другая картина мира, но немало молодых людей опять читают Маркса и Ленина. В русских городах открывают музеи Сталина, ставят ему памятники.

«Красной» империи нет, а «красный» человек остался. Продолжается.

Мой отец, он недавно умер, до конца был верующим коммунистом. Хранил свой партийный билет. Я никогда не могу произнести слово «совок», тогда мне пришлось бы так назвать своего отца, «родных», знакомых людей. Друзей. Они все оттуда – из социализма. Среди них много идеалистов. Романтиков. Сегодня их называют по-другому – романтики рабства. Рабы утопии. Я думаю, что все они могли бы прожить другую жизнь, но прожили советскую. Почему? Ответ на этот вопрос я долго искала – изъездила огромную страну, которая недавно называлась СССР, записала тысячи пленок. То был социализм и была просто наша жизнь. По крупичкам, по крохам я собирала историю «домашнего», «внутреннего» социализма. То, как он жил в человеческой душе. Меня привлекало вот это маленькое пространство – человек... один человек. На самом деле там все и происходит.

Сразу после войны Теодор Адорно был потрясен: «Писать стихи после Освенцима – это варварство». Мой учитель Алесь Адамович, чье имя хочу назвать сегодня с благодарностью, тоже считал, что писать прозу о кошмарах XX века кощунственно. Тут нельзя выдумывать. Правду нужно давать, как она есть. Требуется «сверхлитература». Говорить должен свидетель. Можно вспомнить и Ницше с его словами, что ни один художник не выдержит реальности. Не поднимет ее.

Всегда меня мучило, что правда не вмещается в одно сердце, в один ум. Что она какая-то раздробленная, ее много, она разная, и рассыпана в мире. У Достоевского есть мысль, что человечество знает о себе больше, гораздо больше, чем оно успело зафиксировать в литературе. Что делаю я? Я собираю повседневность чувств, мыслей, слов. Собираю жизнь своего времени. Меня интересует история души. Быт души. То, что большая история обычно пропускает, к чему она высокомерна. Занимаюсь пропущенной историей. Не раз слышала и сейчас слышу, что это не литература, это документ. А что такое литература сегодня? Кто ответит на этот вопрос? Мы живем быстрее, чем раньше. Содержание рвет форму. Ломает и меняет ее. Все выходит из своих берегов: и музыка, и живопись, и в документе слово

вырывается за пределы документа. Нет границ между фактом и вымыслом, одно перетекает в другое. Даже свидетель не беспристрастен. Рассказывая, человек творит, он борется со временем, как скульптор с мрамором. Он – актер и творец.

Меня интересует маленький человек. Маленький большой человек, так я бы сказала, потому что страдания его увеличивают. Он сам в моих книгах рассказывает свою маленькую историю, а вместе со своей историей и большую. Что произошло и происходит с нами еще не осмысленно, надо выговорить. Для начала хотя бы выговорить. Мы этого боимся, пока не в состоянии справиться со своим прошлым. У Достоевского в «Бесах» Шатов говорит Ставрогину перед началом беседы: «Мы два существа сошлись в беспредельности... в последний раз в мире. Оставьте ваш тон и возьмите человеческий! Заговорите хоть раз голосом человеческим».

Приблизительно так начинаются у меня разговоры с моими героями. Конечно, человек говорит из своего времени, он не может говорить из ниоткуда! Но пробиться к человеческой душе трудно, она замусорена суевериями века, его пристрастиями и обманами. Телевизором и газетами.

Мне хотелось бы взять несколько страниц из своих дневников, чтобы показать, как двигалось время... как умирала идея... Как я шла по ее следам...

1980 — 1985 гг.

Пишу книгу о войне... Почему о войне? Потому что мы военные люди – мы или воевали или готовились к войне. Если присмотреться, то мы все думаем по-военному. Дома, на улице. Поэтому у нас так дешево стоит человеческая жизнь. Все, как на войне.

Начинала с сомнений. Ну, еще одна книга о войне... Зачем?

В одной из журналистских поездок встретила с женщиной, она была на войне санинструктором. Рассказала:

шли они зимой через Ладожское озеро, противник заметил движение и начал обстреливать. Кони, люди уходили под лед. Происходило все ночью, и она, как ей показалось, схватила и стала тащить к берегу раненого. «Тащу его мокрого, голого, думала одежду сорвало, - рассказывала. – А на берегу обнаружила, что притащила огромную раненую белугу. И загнула такого трехэтажного мата – люди страдают, а звери, птицы, рыбы – за что? В другой поездке услышала рассказ санинструктора кавалерийского эскадрона, как во время боя притащила она в воронку раненого немца, но что это немец обнаружила уже в воронке, нога у него перебита, истекает кровью. Это же враг! Что делать? Там наверху свои ребята гибнут! Но она перевязывает этого немца и ползет дальше. Притаскивает русского солдата, он в бессознании, когда приходит в сознание, хочет убить немца, а тот, когда приходит в сознание, хватается за автомат и хочет убить русского. «То одному по морде дам, то другому. Ноги у нас, - вспоминала, - все в крови. Кровь перемешалась».

Это была война, которую я не знала. Женская война. Не о героях. Не о том, как одни люди героически убивали других людей. Запомнилось женское причитание: «Идешь после боя по полю. А они лежат... Все молодые, такие красивые. Лежат и в небо смотрят. И тех, и других жалко». Вот это «и тех, и других» подсказало мне, о чем будет моя книга. О том, что война – это убийство. Так это осталось в женской памяти. Только что человек улыбался, курил – и уже его нет. Больше всего женщины говорят об исчезновении, о том, как быстро на войне все превращается в ничто. И человек, и человеческое время. Да, они сами просились на фронт, в 17-18 лет, но убивать не хотели. А умереть были готовы. Умереть за Родину. Из истории слов не выкинешь – за Сталина тоже.

Книгу два года не печатали, ее не печатали до перестройки. До Горбачева. «После вашей книги никто не пойдет воевать, – учил меня цензор. – Ваша война страшная. Почему у вас нет героев?» Героев я не искала. Я писала историю через рассказ никем не замеченного ее свидетеля и участника. Его никто никогда не расспрашивал. Что думают

люди, просто люди о великих идеях мы не знаем. Сразу после войны человек бы рассказал одну войну, через десятки лет другую, конечно, у него что-то меняется, потому что он складывает в воспоминания всю свою жизнь. Всего себя. То, как он жил эти годы, что читал, видел, кого встретил. Во что верит. Наконец, счастлив он или не счастлив. Документы – живые существа, они меняются вместе с нами...

Но я абсолютно уверена, что таких девчонок, как военные девчонки 41-го года, больше никогда не будет. Это было самое высокое время «красной» идеи, даже выше, чем революция и Ленин. Их Победа до сих пор заслоняет собой ГУЛАГ. Я бесконечно люблю этих девчонок. Но с ними нельзя было поговорить о Сталине, о том, как после войны составы с победителями шли в Сибирь, с теми, кто был посмелее. Остальные вернулись и молчали. Однажды я услышала: «Свободными мы были только в войну. На передовой». Наш главный капитал – страдание. Не нефть, не газ – страдание. Это единственное, что мы постоянно добываем. Все время ищу ответ: почему наши страдания не конвертируются в свободу? Неужели они напрасные? Прав был Чаадаев: Россия – страна без памяти, пространство тотальной амнезии, девственное сознание для критики и рефлексии.

Великие книги валяются под ногами...

1989 г.

Я – в Кабуле. Я не хотела больше писать о войне. Но вот я на настоящей войне. Из газеты «Правда»: «Мы помогаем братскому афганскому народу строить социализм». Всюду люди войны, вещи войны. Время войны.

Меня вчера не взяли в бой: «Оставайтесь в гостинице, барышня. Отвечай потом за вас». Я сижу в гостинице и думаю: что-то есть безнравственное в разглядывании чужого мужества и риска. Вторую неделю я уже здесь и не могу отделаться от чувства, что война – порождение мужской природы, для меня непостижимой. Но будничность войны грандиозна. Открыла для себя, что оружие красиво: автоматы, мины, танки. Человек много думал над тем, как

лучше убить другого человека. Вечный спор между истиной и красотой. Мне показали новую итальянскую мину, моя «женская» реакция: «Красивая. Почему она красивая?» По-военному мне точно объяснили, что если на эту мину наехать или наступить вот так... под таким-то углом... от человека останется полведра мяса. О ненормальном здесь говорят, как о нормальном, само собой разумеющимся. Мол, война... Никто не сходит с ума, от этих картин, что вот лежит на земле человек, убитый не стихией, не роком, а другим человеком.

Видела загрузку «черного тюльпана» (самолет, который увозит на Родину цинковые гробы с погибшими). Мертвых часто одевают в старую военную форму еще сороковых годов, с галифе, бывает, что и этой формы не хватает. Солдаты переговаривались между собой: «В холодильник привезли новых убитых. Как будто несвежим кабаном пахнет». Буду об этом писать. Боюсь, что дома мне не поверят. В наших газетах пишут об аллеях дружбы, которые сажают советские солдаты.

Разговариваю с ребятами, многие приехали добровольно. Попросились сюда. Заметила, что большинство из семей интеллигенции – учителей, врачей, библиотекарей – одним словом, книжных людей. Искренне мечтали помочь афганскому народу строить социализм. Сейчас смеются над собой. Показали мне место в аэропорту, где лежали сотни цинковых гробов, таинственно блестели на солнце. Офицер, сопровождавший меня, не сдержался: «Может тут и мой гроб... Засунут туда... А за что я тут воюю?» Тут же испугался своих слов: «Вы это не записывайте».

Ночью мне снились убитые, у всех были удивленные лица: как это я убит? Неужели я убит?

Вместе с медсестрами ездила в госпиталь для мирных афганцев, мы возили детям подарки. Детские игрушки, конфеты, печенье. Мне досталось штук пять плюшевых Мишек. Приехали в госпиталь – длинный барак, из постели и белья у всех только одеяла. Ко мне подошла молодая афганка с ребенком на руках, хотела что-то сказать, за десять

лет тут все научились немного говорить по-русски, я дала ребенку игрушку, он взял ее зубами. «Почему зубами?» – удивилась я. Афганка сдернула одеялко с маленького тельца, мальчик был без обеих рук. – Это твои русские бомбили». Кто-то удержал меня, я падала...

Я видела, как наш «Град» превращает кишлаки в перепаханное поле. Была на афганском кладбище, длинном как кишлак. Где-то посредине кладбища кричала старая афганка. Я вспомнила, как в деревне под Минском вносили в дом цинковый гроб, и как выла мать. Это не человеческий крик был и не звериный... Похожий на тот, что я слышала на кабульском кладбище...

Признаюсь, я не сразу стала свободной. Я была искренней со своими героями, и они доверяли мне. У каждого из нас был свой путь к свободе. До Афганистана я верила в социализм с человеческим лицом. Оттуда вернулась свободной от всех иллюзий. «Прости меня отец, – сказала я при встрече, – ты воспитал меня с верой в коммунистические идеалы, но достаточно один раз увидеть как недавние советские школьники, которых вы с мамой учите (мои родители были сельские учителя), на чужой земле убивают неизвестных им людей, чтобы все твои слова превратились в прах. Мы – убийцы, папа, понимаешь!?» Отец заплакал.

Из Афганистана возвращалось много свободных людей. Но у меня есть и другой пример. Там, в Афганистане, парень мне кричал: «Что ты, женщина, можешь понять о войне? Разве люди так умирают на войне, как в книгах и кино? Там они умирают красиво, а у меня вчера друга убили, пуля попала в голову. Он еще метров десять бежал и ловил свои мозги...» А через семь лет этот же парень – теперь удачливый бизнесмен, любит рассказывать об Афгане. – Позвонил мне: «Зачем твои книги? Они слишком страшные». Это уже был другой человек, не тот, которого я встретила среди смерти, и который не хотел умирать в двадцать лет...

Я спрашивала себя, какую книгу о войне я хотела бы написать. Хотела бы написать о человеке, который не стреляет, не может выстрелить в другого человека, кому

сама мысль о войне приносит страдание. Где он? Я его не встретила.

1990-1997 гг.

Русская литература интересна тем, что она единственная может рассказать об уникальном опыте, через который прошла когда-то огромная страна. У меня часто спрашивают: почему вы все время пишете о трагическом? Потому что мы так живем. Хотя мы живем теперь в разных странах, но везде живет «красный» человек. Из той жизни, с теми воспоминаниями.

Долго не хотела писать о Чернобыле. Я не знала, как об этом написать, с каким инструментом и откуда подступиться? Имя моей маленькой, затерянной в Европе страны, о которой мир раньше почти ничего не слышал, зазвучало на всех языках, а мы, беларусы, стали чернобыльским народом. Первыми прикоснулись к неведомому. Стало ясно: кроме коммунистических, национальных и новых религиозных вызовов, впереди нас ждут более свирепые и тотальные, но пока еще скрытые от глаза. Что-то уже после Чернобыля приоткрылось...

В памяти осталось, как старый таксист отчаянно выругался, когда голубь ударился в лобовое стекло: «За день две-три птицы разбиваются. А в газетах пишут ситуация под контролем».

В городских парках сгребали листья и увозили за город, там листья хоронили. Срезали землю с зараженных пятен и тоже хоронили – землю хоронили в земле. Хоронили дрова, траву. У всех были немного сумасшедшие лица. Рассказывал старый пасечник: «Вышел утром в сад, чего-то не хватает, какого-то знакомого звука. Ни одной пчелы... Не слышно ни одной пчелы. Ни одной! Что? Что такое? И на второй день они не вылетели и на третий... Потом нам сообщили, что на атомной станции – авария, а она рядом. Но

долго мы ничего не знали. Пчелы знали, а мы нет». Чернобыльская информация в газетах была сплошь из военных слов: взрыв, герои, солдаты, эвакуация... На самой станции работало КГБ. Искали шпионов и диверсантов, ходили слухи, что авария – запланированная акция западных спецслужб, чтобы подорвать лагерь социализма. По направлению к Чернобылю двигалась военная техника, ехали солдаты. Система действовала, как обычно, по военному, но солдат с новеньким автоматом в этом новом мире был трагичен. Все, что он мог, набрать большие радиодозы и умереть, когда вернется домой.

На моих глазах дочернобыльский человек превращался в чернобыльского.

Радиацию нельзя было увидеть, потрогать, услышать ее запах... Такой знакомый и незнакомый мир уже окружал нас. Когда я поехала в зону, мне быстро объяснили: цветы рвать нельзя, садиться на траву нельзя, воду из колодца не пить... Смерть таилась повсюду, но это уже была какая-то другая смерть. Под новыми масками. В незнакомом облики. Старые люди, пережившие войну, опять уезжали в эвакуацию – смотрели на небо: «Солнце светит... Нет ни дыма, ни газа. Не стреляют. Ну, разве это война? А надо становиться беженцами».

Утром все жадно хватали газеты и тут же откладывали их с разочарованием – шпионов не нашли. О врагах народа не пишут. Мир без шпионов и врагов народа был тоже не знаком. Начиналось что-то новое. Чернобыль вслед за Афганистаном делал нас свободными людьми.

Для меня мир раздвинулся. В зоне я не чувствовала себя ни белорусской, ни русской, ни украинкой, а представителем биовида, который может быть уничтожен. Совпали две катастрофы: социальная – уходила под воду социалистическая Атлантида и космическая – Чернобыль. Падение империи волновало всех: люди были озабочены днем и бытом, на что купить и как выжить? Во что верить? Под какие знамена снова встать? Или надо учиться жить без большой идеи? Последнее никому незнакомо, потому что еще никогда так не жили. Перед «красным» человеком

стояли сотни вопросов, он переживал их в одиночестве. Никогда он не был так одинок, как в первые дни свободы. Вокруг меня были потрясенные люди. Я их слушала...

Закрываю свой дневник...

Что с нами произошло, когда империя пала? Раньше мир делился: палачи и жертвы – это ГУЛАГ, братья и сестры – это война, электорат – это технологии, современный мир. Раньше наш мир еще делился на тех, кто сидел и кто сажал, сегодня деление на славянофилов и западников, на национал-предателей и патриотов. А еще на тех, кто может купить и кто не может купить. Последнее, я бы сказала, самое жестокое испытание после социализма, потому что недавно все были равны. «Красный» человек так и не смог войти в то царство свободы, о которой мечтал на кухне. Россию разделили без него, он остался ни с чем. Униженный и обворованный. Агрессивный и опасный.

Что я слышала, когда ездила по России...

– Модернизация у нас возможна путем шарашек и расстрелов.

– Русский человек вроде бы и не хочет быть богатым, даже боится. Что же он хочет? А он всегда хочет одного: чтобы кто-то другой не стал богатым. Богаче, чем он.

– Честного человека у нас не найдешь, а святые есть.

– Не поротых поколений нам не дожидаться; русский человек не понимает свободу, ему нужен казак и плеть.

– Два главных русских слова: война и тюрьма. Своровал, погулял, сел... вышел и опять сел...

– Русская жизнь должна быть злая, ничтожная, тогда душа поднимается, она осознает, что не принадлежит этому миру... Чем грязнее и кровавее, тем больше для нее простора...

– Для новой революции нет ни сил, ни какого-то сумасшествия. Куража нет. Русскому человеку нужна такая идея, чтобы мороз по коже...

– Так наша жизнь и болтается – между бардаком и баракком. Коммунизм не умер, труп жив.

Беру на себя смелость сказать, что мы упустили свой шанс, который у нас был в 90-ые годы. На вопрос: какой должна быть страна – сильной или достойной, где людям хорошо жить, выбрали первый – сильной. Сейчас опять время силы. Русские воюют с украинцами. С братьями. У меня отец – беларус, мать – украинка. И так у многих. Русские самолеты бомбят Сирию...

Время надежды сменило время страха. Время повернуло вспять... Время сэконд-хэнд...

Теперь я не уверена, что дописала историю «красного» человека...

У меня три дома – моя беларуская земля, родина моего отца, где я прожила всю жизнь, Украина, родина моей мамы, где я родилась, и великая русская культура, без которой я себя не представляю. Они мне все дороги. Но трудно в наше время говорить о любви.



The premises of the Swedish Academy are in the Exchange (Börshuset), in Stortorget in the Old Town in Stockholm. The building was erected between 1767 and 1778. The ground floor was intended for the Stockholm Stock Exchange and the upper floor for the burgesses of Stockholm. From the 1860s the Grand Hall served as the council chamber for the City aldermen.

It is in the Grand Hall that the Academy has always held its Annual Grand Ceremony, but finding premises for the daily work and the weekly meetings has at times caused problems. Not until 1914 was a solution found. A donation made it possible for the Academy to acquire the right to use the upper floor of the Exchange (including the Grand Hall) and its attic in perpetuity. It did not finally move in, however, until 1921, when Stockholm's new Town Hall had been completed.